

ПОЭТИКА ПОЛИТИКИ В ПОЭМЕ ПУШКИНА “АНДЖЕЛО”

© 2018 г. С. А. Кибальник

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН,
Россия, 195426, Санкт-Петербург, наб. Макарова 4
kibalnik007@mail.ru

Дата поступления материала в редакцию 27 ноября 2018 г.

A POETICS OF POLITICS IN PUSHKIN'S POEM “ANGELO”

© 2018 Sergej A. Kibalnik

Doctor of Philology, Leading Researcher at the Institute of Russian Literature (the Pushkin House) RAS,
Makarov Embankment 4, St. Petersburg, 199034, Russia
kibalnik007@mail.ru

Received by Editor on November 27, 2018.

Ю.М. Лотман высказал плодотворную идею о том, что сюжет пушкинской поэмы “Анджело” содержит отсылки к популярной в XIX веке легенде, будто бы Александр I не умер в 1825 году, а изменил имя и жил как старец в Сибири. Цель статьи – рассмотреть вопрос о том, не содержит ли в свою очередь образ Анджело скрытых отсылок к императору Николаю I. В работе дается положительный ответ на него. Делается вывод о том, что если образ Дука содержит аллюзии на “уход” Александра I, то соотносительность образа Анджело с Николаем I имеет характер политического подтекста или даже является – также как и внутренняя соотносительность образа Изабелы с Н.Н. Пушкиной – проявлением криптографической поэтики. Обращение Пушкина к своего рода криптопоэтике объясняется в работе тем, что поэт был в это время многим обязан царю и поэтому не мог открыто высказывать то, что он о нем думает.

Yury Lotman introduced the thought-provoking idea that the plot of Pushkin's poem “Angelo” evokes the popular nineteenth-century Russian legend about the emperor Alexander I; namely, that Alexander I had not died in 1825, but changed his name and kept living as a hermit (*starets*) in Siberia. The article aims at answering the question whether Angelo, in his turn, is modeled after the emperor Nicholas I. The article answers this question in the affirmative. Whereas Duke might be seen as an allusion to Alexander I, the character of Angelo is a cryptographic image of Nicholas I. Pushkin's use of crypto-poetics can be accounted for by the fact that, back then, the poet was much obliged to the tsar and was in no position to openly criticize him.

Ключевые слова: поэтика, политика, Пушкин, Шекспир, “Анджело”, поэма, Александр I, Николай I.

Key words: poetics, politics, Pushkin, Shakespeare, “Angelo”, poem, Alexander I, Nicholas I.

DOI: 10.31857/S241377150003059-7

Удивительным образом поэма Пушкина “Анджело” до настоящего времени не слишком известна широкому читателю. Между тем поэт говорил о ней в 1834 году: “Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал”

[1, с. 233]. То есть, по мнению самого Пушкина, “Анджело”, по меньшей мере, не хуже, а то и лучше “Онегина”, “Графа Нулина”, “Бориса Годунова”, “Повестей Белкина”, “Маленьких трагедий”...

Критики действительно думали, что это произведение Пушкину не удалось. Так, В.Г. Белинский

в 1846 году констатировал: «“Анджело” был принят публикой очень сухо, и поделом”» [2, с. 553]. Даже друзья Пушкина, сами неплохо писавшие и понимавшие в литературе, – такие, как, например, П.А. Катенин, недоумевали: «Шекспир переделал повесть из Жеральда Чинтио в драму “Мера за меру”»: весьма понятно, но драму опять переделывать в повесть с разговорами: странная мысль» [1, с. 189]. Если впоследствии поэме давались более высокие оценки, то, как и в случае с отрицательными, они были связаны с представлением о ней как о переводном произведении (см., например: [3, с. 137–143; 4, с. 227]). Уже во второй половине XX века Б.В. Томашевский с полным основанием констатировал: “Поэма эта не имела успеха в свое время, и, пожалуй, в этом отношении ее судьба не изменилась и до наших дней” [5, с. 407].

Сам Пушкин, впрочем, только в рукописи сопровождал “Анджело” подзаголовком: «повесть, взятая из Шекспировской трагедии “Measure for measure”» – а в первых публикациях поэмы снял его. Вдобавок пьеса не только была переделана им в стихотворную повесть с включенными в нее драматургическими фрагментами, но и значительно сокращена. В ходе трансформации оригинала произошла значительная его переакцентуация. Возникло совершенно оригинальное произведение [6, с. 254], смысл которого пытались разгадать многие отечественные и зарубежные литературоведы. Между тем в полной мере это так и не было сделано, с чем и связана, на наш взгляд, его сегодняшняя недооценка.

1

Причины неполной состоятельности усилий исследователей связаны, на наш взгляд, с тем, что различные аспекты художественной структуры “Анджело” были изучены не в полной мере и, главное, обсуждались, как правило, по отдельности, вне связи друг с другом. Анализ соотношения пушкинского произведения с оригиналом Шекспира велся сам по себе, а исследование его политического и автобиографического подтекстов само по себе. Исключение составляет уже классическая статья Ю.М. Лотмана [7], но, во-первых, политический подтекст “Анджело” был обрисован в ней бегло и неполно, а во-вторых, поскольку она была опубликована еще в 1973 году, в ней, естественно, не могли быть учтены результаты многих исследований последующего времени.

Ю.М. Лотман в этой своей статье предложил довольно правдоподобную гипотезу о том, что сюжет “Анджело” отсылает к народным легендам, согласно которым император Александр I в действительности

не умер в Таганроге, а прожил остаток жизни в Сибири под вымышленным именем (еще Н.И. Черняев и С.И. Гессен проводили исторические параллели между Дугом и Александром I, Анджемо и Аракчеевым; см.: [8, с. 163–164]; [9, с. 78–79]). Согласно этим легендам, наступит день, когда законный монарх вновь вступит на трон и дарует людям свободу и благоденствие. Впрочем, легендарный старец Федор Кузьмич объявился в Сибири уже после того, как поэма была опубликована [8, с. 89–91]; [9, с. 43–47]. Вот почему многие исследователи последующего времени пытались объяснить, как подобные легенды могли стать известными Пушкину уже к моменту работы над поэмой (см., например: [12, с. 153–163]).

Сюжет об удалившемся государе действительно мог быть навеян Пушкину мыслями об Александре I. Причем для подтверждения этого достаточно заглянуть в пушкинский “Дневник” за 21 мая 1834 года. “В Александре было много детского, – пишет он здесь. – Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, *он отречется от трона и удалится в Америку*”¹ [13, т. 12, с. 330]. Слова эти записаны в дневник уже после создания и даже после опубликования пушкинской поэмы. Однако речь здесь идет о давнишнем письме Александра I Лагарпу, о котором Пушкин мог, разумеется, слышать и гораздо раньше. Очевидно, что подобные заявления Александр I делал не раз, и потому они не раз упоминались после его неожиданной кончины в Таганроге.

Между прочим, сразу вслед за выше приведенным фрагментом Пушкин пишет: «Пол.<етика> сказал: – *L'Empereur Nicolas est plus positif, il a des idées fausses comme son frère, mais il est moins visionnaire.*»² Кто-то сказал о государе: “Il a beaucoup du prarochique en lui, et un peu du Pierre le Grand”»³ [13, т. 12, с. 331]. Нельзя не увидеть в этой дневниковой записи Пушкина противопоставление двух российских самодержцев, один из которых сменил на троне другого, напоминающее пару “Анджело – Дук”.

Достаточно всего лишь снова обратиться к пушкинскому “Дневнику” – на сей раз за 17 марта 1834 года – чтобы убедиться в том, что восприятие Николая I как монарха, который, в отличие от Александра I, мог казнить преступников – то есть

¹ Здесь и далее в цитатах, за исключением особо оговоренных случаев, курсив мой – С.К.

² “Император Николай положительнее, у него есть ложные идеи, как у его брата, но он менее фантастичен” (пер. с франц. – [13, т. 12, с. 487]).

³ “В нем много от прапорщика, и немного от Петра Великого” (пер. с франц. – [13, т. 12, с. 487]).

жизненная ситуация, воплотившаяся в сюжете пушкинской поэмы, – было зафиксировано самим Пушкиным: “...пок.<ойный> гос<ударь> окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. NB *государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать*” [13, т. 12, с. 322]. Нетрудно заметить, что при подстановке в этот исторический ряд сюжета “Анджело” получается, что место помышлений о цареубийстве в поэме заняло прелюбодейние. Так что, вопреки мнению А. Белого [14, с. 164–165], эта параллель как раз убедительное доказательство гипотезы Ю.М. Лотмана о призыве помиловать декабристов, косвенно следующем из пушкинской “апологии не справедливости, а милости, не Закона, а Человека” (ср.: [1, с. 23]).

Кстати, ключи к “Анджело”, возможно, разбросаны в пушкинском “Дневнике” намеренно – в расчете на будущего читателя – по выражению О.Э. Мандельштама, “провиденциального собеседника” [15, с. 184–185], к которому поэт не раз в нем обращается. Начиная с угрозы, вызванной его назначением камер-юнкером, сделаться “русским Dangeau” [13, т. 12, с. 318], то есть сохранить для потомства самые неприглядные мелочи придворной жизни, и кончая прямым обращением вроде “Шиш потомству” и пометой: “Замеч. для потомства (1835. 6-го бал придворный)” [13, т. XII, с. 338; курсив Пушкина – С.К.]. Прямые обращения к потомкам встречаются также в “Последнем из свойственников Иоанны д’Арк”.

2

Ни один из исследователей не сделал, однако, следующего шага и не рассмотрел вопрос о том, не содержит ли в свою очередь образ Анджело скрытых отсылок к императору Николаю I. По всей видимости, это связано с тем, что большинство современных исследователей Пушкина как в России, так и на Западе, к сожалению, разделяют представление о поэте как о монархисте, до конца своих дней остававшемся преданным Николаю I. Такое представление, восходящее к Н.В. Гоголю и В.А. Жуковскому, в настоящее время кажется чрезмерной реакцией на вульгарную социологию марксистского литературоведения. В действительности, по выражению самого Пушкина, он всю жизнь ссорился с царями [13, т. 15, с. 130], и Николай I в этом отношении не

был исключением – во всяком случае после 1834 года, когда поэт безуспешно попытался выйти в отставку. Сам Пушкин 22 июля писал об этом так: “Чуть было не поссорился я со двором, – но все перемололось. Однако это мне не пройдет” [13, т. 12, с. 331]. И так в конце концов и получилось.

Тем не менее политическая актуализация образа Анджело, то есть признание за ним некоторых своего рода прототипических черт Николая I, в научной литературе до сих пор почти не представлена. Можно вспомнить, пожалуй, только утверждение А.Н. Архангельского, что образ Анджело «связан множеством нитей и с традиционным типом “идеального государя” <...>, и – косвенно – с личностью Николая I, чья подчеркнутая суровость, демонстративная верность Закону вызывала у Пушкина смешанные чувства уважения и неприятия» [16, с. 36] (первое из этих утверждений, впрочем, вызывает некоторое сопротивление – уж скорее к этому образу ближе Дук; впрочем, об этом в другом месте пишет и сам исследователь [16, с. 39]).

А.Н. Архангельский отметил в Анджело лишь две конкретные общих черты, сближающих его с Николаем I. Однако таких черт гораздо больше, и, самое главное, соотносимость с современной Пушкину политической реальностью распространяется не только на образ Анджело. «...Основная сюжетная ситуация произведения, – убедительно пишет об этом А.М. Гуревич, – неизбежно вызывала аналогию с нравами царского двора: развратный правитель, лицемерно провозгласивший себя блюстителем нравственности, не мог не ассоциироваться с Николаем – неутомимым соблазнителем придворных дам, хорошеньких фрейлин, обладателем (по ядовитому замечанию Пушкина) целого “гарема из театральных воспитанниц” и одновременно строгим хранителем и защитником семейных устоев» [17, с. 316].

В особенности это очевидно при сопоставлении Анджело не с реальным Николаем I, а с тем его образом, который запечатлен в пушкинском “Дневнике”. В поведении императора поэт фиксирует постоянное отступление от закона и приверженность двойным стандартам, мелочный формализм в соблюдении придворных правил и одновременно небрежение благосостоянием народа, а также вопросами соблюдения общественного правопорядка, нарушение этикета и норм благовоспитанности, а также ветренность и злоупотребление своим положением в отношениях с дамами. Пушкин в дневнике неоднократно поражается несоответствию мнения о себе императора его действительному облику и поведению.

Так, в частности, поэт отмечает всеобщее осуждение вмешательства императора в законное делопроизводство в случае с курляндским дворянином: “Бринкен пойман в воровстве; г.<осударь> *не приказал его судить по законам*, а отдал его на суд курляндскому дворянству; это за чем? К чему такое своевольное различие между дворянином псковским и курляндским; между гвардейским офицером и другим чиновником? *Прилично ли г<осударь>ю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства?*”. От придворных дам и фрейлин по приказу императора, как свидетельствует поэт, требуются теперь особые наряды – “бархатные, шитые золотом” – и это “в настоящее время, бедное и бедственное” [13, т. 12, с. 314]. Николаю I досуг очно и заочно делать мелочные выговоры Пушкину за явку на придворные балы и рауты одетым не по этикету или за пропуск таковых (см.: [13, т. 12, с. 319–333]), а в это время “улицы не безопасны. <...> Полиция, видимо, занимается политикой, а не ворами и мостовую” [13, т. 12, с. 318].

Неоднократно Пушкин упоминает ропот в обществе на назначение Николаем I лиц сомнительной репутации, выдвинувшихся за счет самого неблаговидного поведения и заключает: “... *мы в благопристойности общественной не очень тверды*” [13, т. 12, с. 326]. Откровенно возмущается поэт перлюстрацией писем, даже между членами семьи: “Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (*человеку благовоспитанному и честному*), и *царь не стыдится в том признаться* – и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина!” [13, т. 12, с. 329]. Упоминает Пушкин и не слишком строгое соблюдение Николаем I правил этикета в отношениях с дамами: “В бытность его в Москве нынешнего году *много было проказ*. <...> ... он ухаживал за молодою княгиней Д.<олгурокувой> <...> Царь однажды пошел за кулисы и на сцене разговаривал с московскими актрисами...” [13, т. 12, с. 333]. Рассказывает он о щедрых подарках вельможам, которые только разжигают у них аппетит: “С этой поры начали требовать бриллианты” [13, т. 12, с. 336]. Пушкин также упоминает о придворном бале-маскараде, на котором все, включая “государя”, были в “мундирах времен Павла I”: “В городе шум. Находят это все неприличным” [13, т. 12, с. 336].

3 марта 1834 года, то есть уже в период подготовки поэмы “Анджело” к печати, Пушкин записывает с чьих-то слов, как 13 июля 1826 года Николай I, находясь в Царском Селе, ожидал известия о казни пятаерых декабристов [13, т. 12, с. 321]. 8 марта он упо-

минает отзыв императора об Аракчееве: “Это изверг, говорил он в 1825 году (*après avoir travaillé avec lui et en rentrant chez l’imp.<eratrice> dans le plus grand désordre de toilette*)” [13, т. 12, с. 321; курсив Пушкина – С.К.]. Тем самым поэт зафиксировал, что император сам присутствовал на допросах, в том числе и, по всей видимости, на таких, которые сопровождались пытками.

Что касается современной внутренней политики Николая I, то она также предстает со страниц пушкинского “Дневника” такой, что невольно вызывает ассоциации с “Анджело”. Решительно отвергнув 10 апреля слухи о том, что Н.А. Полевой по случаю запрещения его журнала “Московский телеграф” посажен в крепость: “какой вздор!” [13, т. 12, с. 325], – Пушкин 14 апреля вынужден внести поправку: “Слух о том, что Полевой был взят и привезен в П<етер>б<ург>, подтверждается. Говорят, что кто-то его встретил и в большом смущении здесь на улице тому с неделю” [13, т. 12, с. 326]. 16-го апреля сделана запись: “Говорят, будто бы на днях выйдет указ о том, что уничтожается право русским подданным пребывать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, если слух сей оправдается” [13, т. 12, с. 326]. 3 мая Пушкин отмечает, что “указ о русских подданных, пребывающих в чужих краях” “вышел”: “Он есть *явное нарушение права*, данного дворянству Петром II; но так как допускаются исключения, то и будет *одною из бесчисленных пустых мер*, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства” [13, т. 12, с. 328].

Все это, безусловно, находит прямые параллели в характере Анджело – прежде всего в том, что “суровый человек” и “жестокосердый блюститель Закона” [13, т. 5, с. 111] сам нарушает закон, используя свою власть в корыстных целях. При этом, чтобы подчеркнуть характер возможных злоупотреблений со стороны неограниченной власти, Пушкин заставляет своего героя нарушить тот самый закон, за нарушение которого он сам собирался казнить Клавдио. Вдобавок в истории с Изабелой и Клавдио Анджело проявляет себя не только лицемером, но и коварным лжецом, гнусным соблазнителем и клятвопреступником.

Как и Николай I у Пушкина, Анджело у читателя поэмы действительно вызывает смешанные чувства. Ведь он делит с императором также и такие черты, как простота в обращении, энергичность и деловитость.

⁴ “после совместной с ним работы, возвращаясь к императрице в совершенно беспорядочном костюме” (пер. с франц. – [13, т. 12, с. 487]).

Так, в связи с делом Бринкена Пушкин замечает об императоре: “Конечно, со стороны г<осудар>я есть что-то рыцарское...” (правда, тут же оговаривается: “... но г.<осударь> не рыцарь”) [13, т. 12, с. 315]. Он упоминает присущую Николаю I привычку к необычайно быстрому передвижению: “Вчера гос.<удар>ь возвратился из Москвы, он приехал в 38 часов” [13, т. 12, с. 316]. Поэт называет его замечания на возвращенной ему рукописи “Пугачева” “очень дельными”. Пишет о данном ему императором разрешении печатать книгу и благодарит за данные ему “взаимы 20 000 на напечатание” ее. Отмечает, что император “говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения” [13, т. 12, с. 320]. После своего общения с царем на балу в Аничковом дворце Пушкин замечает: “Г<осуда>рь очень прост в своем обращении, совершенно по-домашнему” [13, т. 12, с. 334].

Многие из этих черт соответствуют облику Анджело, каким он предстает в первой половине пушкинской поэмы:

...муж опытный, не новый
В искусстве властвовать, обычаем суровый,
Бледнеющий в трудах, ученьи и посте,
За нравы строгие прославленный везде,
Стеснивший весь себя оградой законной,
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной...
[13, т. 5, с. 108]

Этот пушкинский герой вначале вызывает уважение у окружающих и кажется несколько загадочным. К нему в поэме относятся следующие ремарки: “Сверкая мрачным взором...”, “безмолвный и угрюмый...”, “важность мудрую...” (см.: [13, т. 5, с. 112, 114, 115]). Парируя угрозу Изабелы обличить “перед людьми” его лицемерие, сам он говорит о себе так:

По строгости моей известен свету я;
Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя
И самый приговор над братней головою
Представят твой донос безумной клеветой.
[13, т. 5, с. 119]

Таким образом, читатель вначале знакомится с репутацией Анджело как сурового и неподкупного властителя, а затем видит, как тот изменяет своим принципам при встрече с Изабелой. Однако в финале Анджело мужественно встречает свою судьбу и даже произносит смертный приговор самому себе. Следовательно, его образ до конца сохраняет некоторую амбивалентность.

Аналогичный характер имеет и развитие образа Николая I в сознании Пушкина как автора “Дневника”. Вначале это скорее привлекательный образ. Затем приведено немало фактов, дискредитирующих императора. Позитивные ремарки о государе содержатся, впрочем, и в дневнике Пушкина от начала 1835 годов, то есть уже после рассказа о его мелочных преследованиях поэта за нарушения придворного этикета и об “ухаживаниях” Николая за дамами и актрисами: “Митрополит на место Павского предлагал попа Коч<ет>това, плута и сплетника. Государь не захотел и выбрал другого, человека, говорят, очень порядочно-го”, “Царь любит, да псарь не любит” [13, т. 12, с. 337].

А ведь именно “многосторонностью” шекспировских героев сам Пушкин приблизительно в эти же годы (что вошло в “Table-talk”) объяснял свой интерес к Шекспиру, ссылаясь при этом именно на характер Анджело: “У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства” [13, т. 12, с. 160]. Как раз над этой противоречивостью человеческой души Пушкин размышляет на примере многих героев своих как художественных, так и исторических сочинений 1830-х годов (Дон Гуан, Скупой рыцарь, Пугачев, Петр).

В отличие от своего шекспировского прообраза, пушкинский Анджело не скомпрометирован в глазах читателя с самого начала отказом жениться на Марианне после того, как корабль с ее приданным затонул. Как и его шекспировский прообраз, он сочувственно изображается Пушкиным как человек, внезапно пораженный любовной страстью. Анджело довольно искусно обольщает Изабелу, прибегая вначале к красноречию, а затем пуская в ход силу и напор. Его нетерпение, вызванное тем, что Изабела просто не понимает его намеков, вызывает у читателя хотя и сдержанную, но сочувственную улыбку. Наконец, он спокойно и с убийственным сарказмом отражает попытку героини перейти в наступление и угрозы обличить его перед людьми. Как и шекспировский герой, он сохраняет самообладание и мужество даже перед лицом смерти.

Возможно, это связано с тем, что Болдинской осенью 1833 года, когда поэма была написана, все те осложнения в отношениях с двором, о которых Пушкин прямо пишет в своем “Дневнике” начиная с конца ноября 1833 года, только еще намечались. Более того,

почти на протяжении всего года царь нередко тепло беседовал с Пушкиным, давал ему доступ в архивы и даже собирался по его просьбе нанять М.П. Погодина в помощники поэту в архивных разысканиях (см.: [13, т. 15, с. 53]).

По сравнению с образом Николая I в пушкинском “Дневнике” герой поэмы “Анджело” все же явно проигрывает, поскольку в полной мере демонстрирует в ней свое коварство и лицемерие. Правда, он делает это только однажды, оказавшись не в силах противиться соблазну в лице Изабелы. Между тем его готовность умереть трогает даже ее. Так что в целом в сознании читателя поэмы, наверное, все же складывается более привлекательный образ, чем тот, какой возникает у читателя на основе рассказанного о Николае I в пушкинском “Дневнике”. Отчасти это соответствует важнейшему принципу романтической поэтики Пушкина – принципу “романтической сублимации” [18, с. 75–79]. Отчасти же это связано с тем, что апология милосердия в поэме, особенно прозрачно выраженная в ее финале: “И Дук его простил”, – была прямо адресована императору. Следовательно, существовала вероятность, что вместе с этим завуалированным призывом к милосердию Николай I “вычитает” в поэме и то, в кого метит образ ее главного героя.

Вот почему преломление черт Николая I в характере Анджели было довольно значительным. Существенные различия между ними несомненны. Так, например, Николай I не особенно усердствовал в молитвах и стремлении улучшить свое образование. В начальной характеристике Анджели: “Бледнеющий в трудах, ученье и посте” – только первая черта верна по отношению к Николаю I, да и то лишь отчасти.

Эти существенные различия скорее всего были введены (или сохранены) в шекспировском герое намеренно – для того чтобы соотносимость Анджели с Николаем I не бросилась в глаза самому императору и его окружению (разумеется, от подобных подозрений Пушкин был защищен и тем, что его Анджели – образ, созданный Шекспиром). Так что она имеет, так сказать, криптографический характер и составляет политический подтекст поэмы, скорее рассчитанный на будущего, “провиденциального собеседника”. Тем не менее, на всякий случай поэт позаботился о том, чтобы возможные “применения” сюжета его поэмы к современности не были для императора слишком невыгодными.⁵ Возможно, с этим связано внесение тех

⁵ На всякий случай на страницах своего “Дневника” Пушкин последовательно высказывается против того, что-

изменений, которые делают пушкинского Анджели привлекательнее⁶.

3

Если мы обратимся к образу Изабелы и сравним его с тем, как Пушкин воспринимал в это время свою жену, судя по его дневнику и их переписке, то картина получится также, хотя и в меньшей степени, довольно сходная, но, конечно, далеко не идентичная. Оставим в стороне такие расхожие их общие свойства, как молодость и красоту. Изабела вдобавок очень наивна и долго не понимает смысла предложения ей со стороны Анджели. Наталья Николаевна также отличалась неопытностью и даже иногда совершала в связи с этим ложные шаги. Пушкин всегда верил, тем не менее, что жена его оставалась невинна и чиста. Именно такой он и рисует свою Изабелу.

В разговорах с Анджели она, правда, невольно “заводит” его эротическими коннотациями употребляемых ею фраз. Вначале она делает это произвольно двусмысленным обещанием:

Великими дарами
Я задарю тебя... прими мои дары...

[13, т. 5, с. 113]

И хотя далее она говорит о молитвах монахини, но делает это в таких выражениях, которые могут только поддерживать огонь, разгоревшийся в душе Анджели:

бы находить в художественных произведениях принцип “применений”: “Вчера играли здесь *Les enfants d’Edouard*, и с большим успехом. Трагедия, говорят, будет запрещена. Эжнер удивляется смелости применений... Блаи их не заметил. Блаи, кажется, прав” [13, т. 12, с. 315]; “Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке

Царствуй, лежа на боку

и

*Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.*

Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова” [13, т. 12, с. 337]. Однако, возможно, это проявление литературной стратегии, направленной на то, чтобы обезопасить себя от цензурных преследований.

⁶ По характеристике Н.В. Захарова, «пушкинский тиран менее изворотлив и сластолюбив, он лишен красноречивого лукавства соблазнителя, которое Шекспир характеризует словосочетанием: “such sweet uncleanness” (досл. – столь сладостной нечистоты)» [6, с. 207].

Пред утренней зарей, в полунощной тиши,
Молитвами любви, смирения и мира...

[13, т. 5, с. 113]

Затем, говоря о своей готовности умереть ради Клавдио, она неосторожно использует следующее сравнение: “И лечь в кровавый гроб спокойно как на ложе...” [13, т. 5, с. 117]. Впрочем, в этом Пушкин всего лишь следует Шекспиру [30, с. 32].

Подспудно в ней самой также, возможно, постепенно зарождается определенный интерес к Анджело как к мужчине – хотя бы в ответ на его непреодолимую страсть к ней, дань которой она невольно отдаст, заступаясь за него перед Дуком в финале поэмы:

За меня

Не осуждай его. Он (сколько мне известно,
И как я думаю) жил праведно и честно
Покаместь на меня очей не устремил.

[13, т. 5, с. 129]

Все это отсутствует в пьесе Шекспира, а вместо этого Герцог ни с того ни с сего вдруг объявляет Изабеле, что берет ее в жены. Пушкинский Анджело в финале не может не только жениться, но даже и по-прежнему питать страсть к Изабеле, потому что он, в отличие от своего шекспировского прообраза, женат, да вдобавок теперь еще и обязан своей жене Марьяне – впрочем, как и Изабеле, – жизнью.

В обоих случаях Пушкин по преимуществу занят психологической разработкой характеров. Шекспировский текст предоставлял ему замечательные возможности для изучения таких психологических явлений, как неотразимое прельщение женской красотой невинной девушки со стороны аскетического героя, произвольное обольщение его с ее стороны, психологический механизм злоупотребления властью и применения двойных стандартов к другим и к себе, смертный ужас верующего человека при мысли о гибели его души, возмущение женщины либертинским отношением к половой любви и др. Пушкин необычайно преуспевает в этой поэме в развитии присущего ему типа психологизма, когда внутреннее состояние человека, почти никак не описываемое, безошибочно передается его речью.

Все это интересовало Пушкина не только само по себе – как опыты изучения человеческой души – но и, по-видимому, в чисто житейском смысле. Ведь опасения за жену, за ее наивность и неопытность, а также склонность к бесцельному и невинному кокетству с мужчинами составляли предмет серьезной тревоги

со стороны Пушкина, которая пронизывает почти всю переписку его с ней. В период же, предшествующий созданию поэмы, он прямо писал ей: “...не кокетничай с ц.<арем>, ни с женихом княжны Любы” [13, т. 15, с. 87]. Своему другу П.В. Нащокину Пушкин говорил, что “<царь>, как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены” [1, с. 233]. Самой Н.Н. Пушкиной 6 мая 1836 года поэт написал: “... видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц” [13, т. 16, с. 449].

Эти отношения и переживания, разумеется, не могли не отразиться в его творчестве. Однако в художественных произведениях Пушкина, которые были предназначены для печати, это могло быть сделано только особым, достаточно скрытым образом: Пушкин, разумеется, не хотел оказаться смешным в глазах общества. В. Викери вообще полагал, что «пушкинский интерес к “Мере за меру” кроется в личном чувстве уязвленности и ревности, спровоцированном вниманием царя к его жене» [32, с. 336] (ранее аналогичное предположение высказывал В.В. Вересаев [19, с. 184]). Вот почему пушкинская Изабела, с одной стороны, гораздо лучше и ярче шекспировской героини, а с другой – многим отличается и от Натальи Николаевны.

Больше всего Изабела отличается от нее, как представляется, своей набожностью, вплоть до квиетизма, из-за которой она в какой-то момент даже практически отступает от своего брата, соглашаясь с Анджело в том, что его преступление не может быть прощено. Возможно, эти серьезные отличия пушкинской героини от жены поэта отчасти были частью целенаправленной стратегии по затемнению автобиографического подтекста поэмы.

Говоря же вообще, отношения Пушкина с женой имеют прототипический подтекстовый характер во многих его произведениях 1830-х годов – например, в “Сказке о рыбаке и рыбке” (1833) или в антологической эпиграмме “Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...” (1834–1835). Изменение возраста героев по сравнению с прототипами – наиболее простая и распространенная форма затемнения автобиографического подтекста. Ср., например, с одной стороны, стремление Натальи Николаевны в период создания пушкинской сказки к тому, чтобы танцевать на придворных балах (для чего Пушкин должен был иметь придворное звание), а с другой – то, что

он также в свою очередь пользовался в обществе немалой популярностью и вызывал интерес у женщин. См., например, письмо С.Н. Карамзиной к И.И. Дмитриеву от 20 января 1834 года: “Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным Камер-Юнкерством, но теперь успокоился, ездит по балам и наслаждается торжественною красотою жены, которая, не смотря на блестящие успехи в свете, часто и преискренне страдает мученьем ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа...” [9, с. 33].

4

Здесь мы подходим к важнейшему вопросу о трансформациях, которые под пером Пушкина претерпела шекспировская пьеса. Оставим в стороне часто встречающиеся рассуждения о том, что Пушкин следовал тем или иным указаниям комментаторов, критиков и переводчиков (см., например: [20, с. 56–63]; [21, с. 130–154]). Большие писатели при создании художественных произведений руководствуются совсем другими мотивами. Прежде всего их творения питают соотносительность с реальной ситуацией в обществе и с личными обстоятельствами. Разумеется, в случае с вольным и вдобавок сокращенным переложением отбор и характер трансформации оригинала осуществляется в том числе и по соображениям эстетической критики – но по своим, а не чьим-то еще: “Пушкин выпустил из шекспировского текста все, что не соответствовало *его* миропониманию или же выглядело слишком изысканным и потому неправдоподобным, неестественным” [6, с. 201].

Ю.М. Лотман полагал, что Пушкин не выбирал, а, напротив, последовательно исключал из своего метатекста “места, которые для русского читателя могли прозвучать как слишком откровенные намеки на хорошо известные ему события и слухи”. Вот почему, по его мнению, Пушкин устраняет то обстоятельство, что при назначении наместником Анджело оказался обойден старший по возрасту и более ожидаемый воспреемник власти Эскал: “Место это могло звучать как намек на устранение от власти Константина (роль этого эпизода в общей драме декабря 1825 г. была слишком хорошо памятна)” [7, с. 9, 11]. По тем же причинам, по мнению исследователя, исключены слова Герцога и Изабелы о том, что Анджело лишь намеревался совершить, но не совершил преступление – что прямо напоминает случай с “цареубийством” декабристов: «прямые “применения” текста своей “итальянской” поэмы

к современности поэт считал нежелательными» [7, с. 12].

Возможно, отчасти так оно и было. Однако поэма писалась не в 1826, а в 1833 году, когда ситуация с Константином уже давно принадлежала истории. Так что, исключая Эскала, Пушкин делал параллели между поэмой и современной реальностью, быть может, только более явными. Что же касается суда за “намерения”, то Пушкин прямо пишет об этом в применении к декабристам и Николаю I в приведенном выше фрагменте своего “Дневника”. Между тем ведь и в поэме от преступных намерений Анджело так никто и не пострадал. Хотя Дук прямо не говорит об этом, но, по-видимому, он сразу соглашается простить Анджело в ответ на мольбы Марьяны и Изабелы в том числе и по этой причине. Более того, “с формальной точки зрения Анджело так и не сумел совершить преступление: не прелюбодействовал (ибо Дук отправил в его объятия законную жену); не отменил объявленное судебное решение в расплату за любовную связь (за него это сделал Дук)” [6, с. 254]. Так что аналогия с декабристами при изъятии из сюжета Эскала и рассуждений Герцога и Изабелы о том, что намерение еще не есть преступление, вовсе никуда не исчезает – она просто перестает быть нарочитой.

У Шекспира, тем не менее, хотя бы только Люцио, но все же оказывается наказан – впрочем, более-менее справедливо и сообразно его преступлению: тем, что должен жениться на потаскухе, у которой от него ребенок. В отличие от “Measure for Measure”, пушкинская поэма обретает черты своего рода утопии или сказки, в которой никто не наказан, каждый получает то, чего заслуживал, а по отношению к главному герою вдобавок проявлено милосердие, которого сам он не выказал. Подобная развязка с выделенной в отдельную строку фразой: “И Дук его простил” [13, т. 5, с. 129] – придавала сюжету отчетливо притчевый и даже аллегорический характер.

5

Разумеется, наряду с внешним сюжетным уровнем в поэме Пушкина имеются другие, более глубокие уровни художественной структуры, на которых реализуется его соотносительность с античной мифологией, библейскими и фольклорными мотивами (см.: [7, с. 6–8]). Между тем эта соотносительность актуализируется за счет ассоциаций с политическим календарем и собственной биографией поэта в период создания и публикации “Анджело”.

Как уже отмечалось, композиционная структура поэмы “строится как дважды повторенный эпизод: преступление – суд – отмененная казнь. В первом случае преступление совершает Клавдио, судит его Анджело, спасает от казни Дук. Во втором преступник – Анджело, суд вершат сам Анджело и Дук. Однако параллелизм сюжетных ситуаций лишь резко оттеняет их содержательное различие: в первом случае казнь не совершается в результате обмана, во втором – из-за милосердия, в первом случае противопоставляются закон и беззаконие, во втором – закон и милосердие” [7, с. 19].

Мысль о том, что суровый судья может сам оказаться в положении подсудимых и в этом случае будет нуждаться в их милосердии, формулируется сначала Изабелой:

Когда б во власть твою мой брат был облечен,
А ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он,
Но брат бы не был строг, как ты. [13, т. 5, с. 111]

Затем она реализуется в развертывании дальнейшего сюжета поэмы, с той разницей, что оказавшегося преступником Анджело милует не Клавдио, а возвратившийся Дук. Причем просит помиловать его в том числе и Изабела.

Написанная через год “Сказка о золотом петушке” заканчивается словами:

Сказка ложь да в ней намек!
Добрый молодцам урок. [13, т. 5, с. 563]

В финале “Анджело” ничего подобного не сказано, но нет и такой необходимости: настолько прозрачной аллюзией оказывается сюжет поэмы, в особенности ее финальная сцена и более всего заключительные слова Дука. Очевидным образом они адресованы тогдашнему высочайшему цензору Пушкина – Николаю I. И в них легко читался призыв помиловать декабристов.

Впрочем, поэма проходила обычную цензуру (см.: [23, с. 140–141]). Хотя в других случаях это Пушкина скорее всего устраивало, на этот раз он, вероятно, был несколько разочарован: поэма в известной степени была написана именно в расчете на то, что Николай I внимательно прочтет ее.

Некоторые исследователи – например, Г.П.Макогоненко, Ю.М. Лотман – полагали, что для Пушкина 1830-х годов использование политических аллюзий было уже в прошлом (см.: [22, с. 103]; [7, с. 244]). В действительности политическая аллюзивность не была уже в эти годы у Пушкина основным и един-

ственным способом актуализирования политики, однако она сосуществовала в его поэтике вместе с другими.

Возможно, не случайно и то, что поэма была завершена в конце октября 1833 года и, следовательно, должна была поступить на рассмотрение к императору скорее всего в конце года, а 14 декабря 1833 года была очередная, на сей раз восьмилетняя годовщина – не только восстания декабристов, но и восшествия Николая I на престол (ежегодно она торжественно отмечалась во дворце). В Брюсселе в этот день “в годовщину 14 декабря” выступали с речами польские эмигранты, и в одной из них о Пушкине упоминалось как о поэте “сосланном в отдаленные края империи”. 11 апреля 1834 года поэт приводит в своем “Дневнике” выдержку из “Франкфуртского журнала” от 27 февраля, в которой это упоминание опровергалось: “...le voit souvent à la cour et qu’il y est traité par son souverain avec bonté et bienveillance...” [13, т. 12, с. 326]⁷. А ведь “даты, связанные с декабристским восстанием, были глубоко врезаны в пушкинскую память, они то и дело мелькают в его рукописях, фиксируя печальные годовщины, которые Пушкин всегда переживал, отмечал тем или иным способом” [24, с. 161].

Кстати говоря, в 1826 году, обдумывая будущий приговор декабристам, Николай I сам постоянно прибегал к понятиям “закон” и “милосердие”. Буквально через несколько дней после восстания, 20 декабря 1825 года, император признавался французскому посланнику П.-Л. Лаферронэ: “*Проявлю милосердие, много милосердия, некоторые даже скажут – слишком много; но с вожаками и зачинщиками заговора будет поступлено без жалости, без пощады. Закон изречет кару, и не для них воспользуюсь я принадлежащим мне правом помилования. Я буду непреклонен; я обязан дать этот закон России и Европе*” (цит. по: [25, с. 347]). «На тот момент действовало “Уложение Царя Алексея Михайловича” от 29 января 1649 г., – комментирует его намерение Л. Луцевич. – Глава II “Уложения” под названием “О Государской чести...” в пункте 1 определяла наказание за злой умысел против особы государя, в пункте 2 – наказание за злоумышление против целостности государства. В обоих случаях виновный наказывался смертной казнью (см.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб.: Тип. 2-го Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830. Т. 1. № 1. С. 3–4). Пятеро декабристов – признанные судом во-

⁷ “его часто видят при дворе, причем он пользуется милостью и благоволением государя” (пер. с франц. – [13, т. 12, с. 487]).

ждями и зачинщиками заговора, покусившимися на существование империи, согласно закону, не могли быть помилованы” [26, с. 112–113]. Руководствуясь этим средневековым законодательством, Николай I, должно быть, еще и полагал, что проявляет милосердие к остальным участникам мятежа, не подвергая их смертной казни. Так или иначе, понятия “закон” и “милосердие”, судя по всему, были глубоко укоренены в политическом языке эпохи и лично Николая I.

По предположению И.З. Сурат, относящемуся к истории создания пушкинского стихотворения “Кто из богов мне возвратил...”, 11 января 1835 года “исполнилось 10 лет со дня последнего свидания Пушкина с Пушиным”, и “воспоминание о давней встрече с другом, обостренное придворными декабрьскими празднествами, перешло в мечту о его скором возвращении из Сибири”, воплотившуюся в этом стихотворении [24, с. 162]. Направленность главной мысли поэмы “Анджело” на облегчение участи декабристов настолько существенна, что та или иная связь ее с датой “14 декабря” представляется не менее вероятной. Аналогичную притчу-воззвание представляет собой написанное через два года пушкинское стихотворение “Пир Петра Первого”, в котором призыв помиловать декабристов выражен, как и в “Анджело”, аллегорично – через аналогичный стихотворный рассказ: на сей раз о Петре I, празднующем не победу над врагом, а прощение “виноватого”. Сходным образом стихотворение это было опубликовано в первом номере журнала “Современник” за 1836 год, ко времени выхода которого исполнилось десять лет со дня завершения суда над декабристами.

Как известно, некоторые произведения Пушкина приурочены к лицейской годовщине 19 октября (см. об этом: [27]). В 1833 году поэт не сочиняет ничего, что было бы приурочено к этой дате. Между тем лицейский друг Пушкина декабрист В.К. Кюхельбекер в это время томится в Свеаборгской крепости. Так что поэма “Анджело”, возможно, в каком-то смысле и есть очередное произведение, написанное на лицейскую годовщину 1833 года. Только на сей раз оно адресовано не живым и здравствующим лицеистам, а Николаю I – с призывом помиловать декабристов, и в том числе лицейского друга Пушкина Кюхельбекера.

При этом форма квазиперевода была в этом смысле чрезвычайно удобна для Пушкина, поскольку, во-первых, она создавала впечатление, что призыв к милосердию в поэме шел не от самого Пушкина, а от Шекспира, и во-вторых, политический и биографический подтекст “Анджело”, благодаря ей, чрезвычайно затемнялся.

Адвокатом милосердия в поэме является Изабела, в то время как Анджело отстаивает приоритет закона. В разговорах с ним Изабела убеждает его в том, что

Земных властителей ничто не украшает,
Как милосердие. Оно их возвышает. [13, т. 5, с. 111]

В своих “уверчивых” речах она апеллирует к примеру Иисуса Христа:

Подумай: если тот, чья праведная сила
Прощает и целит, судил бы грешных нас
Без милосердия; скажи: что было б с нами?
[13, т. 5, с. 112]

Благотельный пример Христа, по мысли героини, должен подвигнуть Анджело на милосердие, которое в то же время преобразит его самого:

Подумай – и любви услышишь в сердце глас,
И милость нежная твоими дхнет устами,
И новый человек ты будешь.
[13, т. 5, с. 112]

В ответ на это Анджело пытается заслониться законом:

Не я, закон казнит. Спаси нельзя мне брата...

Не помогают даже ссылки Изабелы на то, что до настоящего времени то, что совершил Клавдио, не считалось преступлением:

Ты знаешь, государь, несчастный осужден
За преступление, которое доселе
Прощалось каждому...
[13, т. 5, с. 112]

Только вопрос Изабелы о том, неужели сам он никогда не помышлял о подобном преступлении (“Ужель, душа твоя / Совсем безвинная? спросись у ней: ужели / И мысли грешные в ней отроду не тлели?”) – заставляет Анджело “вздрогнуть, поникнуть головой” – и назначить ей “свидание на завтра” [13, т. 5, с. 113]. И то лишь потому, что героиня, сама того не подозревая, попала в точку: именно это происходит в данную минуту с Анджело.

Аргументы, которые Изабела приводит во время своего второго разговора с Анджело в ответ на его суровые обвинения, снова по касательной как будто бы затрагивают преступление и наказание декабристов:

А н д ж е л о
Простить? Что ж в мире хуже
Столь гнусного греха? убийство легче.
И з а б е л а

Да,
Так судят в небесах, но на земле – когда?
[13, т. 5, с. 115]

В ответ на это Анджело предлагает Изабеле спасти брата, “пожертвовав собой / И плоть предав греху”. С помощью казуистской логики он выдает ей это за “милосердие”. Вначале Изабела проявляет вызывающее нетерпение и раздражение Анджело, непонимание его намеков, одновременно простодушно оставаясь при своих понятиях о милосердии:

Спаси ты брата моего!
Тут милость, а не грех. [13, т. 5, с. 116]

Однако поняв сконструированную Анджело комбинацию как сугубо теоретическую (“...чтоб ты казнь брата искупила / Своим падением: не то решит закон”), она отвергает ее, при этом по-прежнему непроизвольно прибегая к эротическим метафорам:

Для брата, для себя решила бы скорей,
Поверь, как яхонты, носить рубцы бичей
И лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе,
Чтоб осквернить себя. [13, т. 5, с. 117]

И здесь происходит неожиданная вещь: строгая приверженность Изабелы к христианским ценностям и вера в то, что плотский грех губит человеческую душу, парадоксальным образом заставляет ее согласиться с Анджело и отступить от своего брата:

Бесчестием сестры души он не спасет.
Брат лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.
[13, т. 5, с. 117]

Это дает возможность Анджело временно торжествовать и победно вскинуть знамя Закона, которое он несет в течение всего своего словесного противостояния с Изабелой:

Давно ль еще? Сей час
Ты праведный закон тираном называла...
[13, т. 5, с. 117]

В этот момент, будучи “ободрен” признанием Изабелы в том, что и она подвержена человеческим слабостям, Анджело, наконец, высказывается прямо. И ей становится ясно, что закон в его руках по

отношению к ней лишь орудие шантажа. Строгий блюститель Закона оказывается на поверку “обманщиком” и лицемером:

... и полно лицемерить
Тебе перед людьми. [13, т. 5, с. 117]

По слову Изабелы об Анджело, сказанному ею затем Клавдио, “в нем милосердие бесовское”.

В разговоре с Клавдио Изабела, однако, будучи права по существу, оказывается не совсем права по форме. Ее ригоризм “полумонахини” сказывается здесь в том, что она сама произносит ему приговор:

Ты должен умереть; умри же беспорочно.
[13, т. 5, с. 121]

Затем проявляет неуместную несдержанность, допуская вспышку гнева на брата, на мгновение проявившего естественную человеческую слабость.

Парадоксальным образом Изабела оказывается здесь идейным сторонником Анджело, потому что тем самым она принимает и его бесчеловечный закон, и формальную логику применения его. Причем это имеет место как у Шекспира, так и у Пушкина (ср.: [30, с. 26]; [20, с. 61]).

Это временное согласие Изабелы с Анджело оказывается, однако, совсем не случайным. Ведь между ними изначально было нечто общее. Недаром в начале поэмы Изабела собиралась постричься в монахини, а Анджело отличался набожностью и вел аскетическую жизнь. Логика Пушкина проста: те, кто сами не умеют наслаждаться жизнью, не могут и справедливо судить тех, кто это делает.

Однако Изабела только внешне, лишь кажущимся образом похожа на Анджело. Хотя имя “Анджело” происходит от слова “ангел”, сам он скорее “демон лести”, “бес” (“в нем милосердие бесовское” – [13, т. 5, с. 129]). Между тем Изабела неоднократно сравнивается в поэме с “ангелом” – в том числе и в финальной ударной сцене помилования Анджело Дуком, в которой она “как ангел” пожалела “душой о грешнике” [13, т. 5, с. 129]. Значит, то, что, в отличие от шекспировской героини, пушкинская Изабела примиряется с братом еще до того, как они расстанутся, совсем не случайно [31, р. 53].

Здесь в поэме начинается во весь голос звучать внутренний сюжет “Анджело”. Это противопоставление ханжеству и лицемерию Анджело, с которым парадоксальным образом вначале солидаризируется

Изабела, подлинного – как евангельского (формулируемого самой Изабелой), так и безотносительного к Евангелию (формулируемого Луцио, а осуществляемого Дуком) – человеческого гуманизма. В этом плане поэма также, возможно, подспудно направлена против Николая I, которого отличало как раз неприятие подобного гуманизма.

По Шекспиру, милосердие заключается в самих законах:

The very mercy of the law cries out... [30, p. 111]

Милосердие, необходимость которого отстаивают пушкинские герои, в отличие от Шекспира, заключается не в самих законах (“mercy of the laws”) как в силе, по Пушкину, безличной и потому слепой, а в человеке, способном смягчать их несправедливость, идущую от сложности жизни, которой подчас не соответствует универсальность юридических установлений. Сопоставление того, как тема закона и милосердия решена у Пушкина и у Шекспира, показывает, однако, что формула Ю.М. Лотмана: пушкинская поэма – “апология не справедливости, а милости, не Закона, а Человека” [7, с. 19; курсив Ю.Л.] – все же не совсем точна. Пушкин не отказывается от справедливости, но считает, что осуществить ее в полной мере можно только благодаря “милосердию”. Он не против законов, но напоминает, что их создают и применяют люди, и потому здесь появляется место для несправедливости. Вот почему нужно “милосердие”, возвышающее людей до высшей, божественной справедливости (по слову Изабелы, оно их “возвышает”).

Кстати, как напоминает Н.В. Захаров, “в отличие от Шекспира, Пушкин пишет слова Закон и Милость с большой буквы” [6, с. 254]. Это пушкинское написание сохранено в издании под ред. Б.В. Томашевского [28, с. 252–272].

«Черновики поэта свидетельствуют, что Пушкин перечитывал текст “Меры за меру” на английском языке и переводил отдельные фрагменты оригинального текста» [6, с. 261]. Тем не менее, поскольку даже в 1830-е годы Пушкин читал по-английски не так уж свободно, то, глядя в текст оригинала, он непременно заглядывал во французский перевод – скорее всего П. Летурнера [33]. Как ни странно, вопрос о французских подстрочных переводах пьесы, которыми пользовался Пушкин, до настоящего времени совершенно не исследован.

6

Итак, политика по-разному входит в художественную структуру пушкинского “Анджело”. Если образ Дука и его “прощение” Анджело в финале поэмы имеют характер аллюзии на “уход” Александра, то соотносительность образа Анджело с Николаем I носит характер политического подтекста. Еще более скрытый, криптографический характер имеет внутренняя прототипическая связь Изабелы с Н.Н. Пушкиной.

Сформулированный в финале достаточно прямо message поэмы органично входит в более широкое смысловое поле, которое складывается в результате столкновения пушкинских характеров в предложенных обстоятельствах. Систему героев пушкинской поэмы образует прежде всего противоположность двух крайностей: набожным Анджело и Изабеле (своего рода “полумонахам”), которые оба впадают временами в ханжество и квиетизм, противопоставлен “либертин” Луцио, готовый даже вознаградить Клавдио за то, за что Анджело обрекает его на смерть.

И то, и другое, как почти всегда у Пушкина, представлено в “Анджело” как болезненные уклонения от истины, в случае с Луцио гораздо более безобидные, чем в случае с Анджело (не зря некоторые его характеристики, как, например, “гуляка” – впрочем, совпадающая с шекспировской, – вызывают ассоциации с отзывом Сальери о Моцарте из одноименной “маленькой трагедии”: “гуляка праздный” [13, т. 7, с. 125]). А побеждают в пьесе – как это нередко происходит у поэта – простые человеческие ценности любви, верности, прощения и милосердия, которые воплощают в поэме Изабела, Дук, Клавдио и Джульетта. В художественном мире Пушкина они образуют своего рода “пушкинскую религию” любви, простых человеческих радостей и счастья, о которых столь вдохновенно говорит Клавдио в своей последней беседе с Изабелой. Неслучайно в монологе Клавдио в конце части второй Пушкин «вставляет слова, отсутствующие в оригинале: “Увы! земля прекрасна / И жизнь мила”» [20, с. 61].

Однако при этом поэма отличается повышенной амбивалентностью, многоплановостью и какой-то атмосферой загадочности. Как и некоторые другие произведения этого периода, она как будто бы взывает к тому, чтобы мы попытались разгадать ее подлинный смысл. Что и породило бесчисленные попытки этого рода, которые в данном случае выглядят – включая, разумеется, и предложенную мной интерпретацию – обреченными в лучшем случае лишь на частичный успех. А порождает это впечатление то обстоятельство, что поэма написана так, что

ее наиболее острый политический и личный смыслы открывались “провиденциальному собеседнику” Пушкина лишь с течением времени.

Установка Пушкина на будущего, скорее всего посмертного читателя связана, разумеется, с критическим отношением к читателю современному, то есть прежде всего к критике. И то, и другое – вкуче с цензурными запретами на некоторые произведения – объясняет также и то, почему Пушкин в эти годы печатает гораздо меньше, чем пишет. Ср. его собственное признание в письме к М.П. Погодину от апреля 1834 года: “Вообще пишу много про себя, а печатаю по неволе и единственно для денег; охота являться перед публикою, ко<то>рая Вас не понимает, чтоб чет<ыре> дурака ругали Вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не поматерну” [13, т. 15, с. 124].

В поэме “Анджело” по сравнению с другими произведениями позднего Пушкина политика представлена в наименее “прозрачной” форме. Тем более мы не можем пройти мимо нее, говоря о “Медном всаднике” или “Дубровском”, “Сказке о золотом петушке” или “Родрике”, “Капитанской дочке” или “Последнем из свойственников Иоанны д’Арк”. Нетрудно заметить, что наиболее подходящей формой художественного высказывания в это время для Пушкина оказывается метатекст, то есть оригинальный текст, который выглядит как отчасти чужой. В своем пределе это вольный перевод, перемежаемый свободным пересказом (как в случае с “Анджело”), иногда это произведение по мотивам другого автора или авторов (“Сказка о золотом петушке”), а то и вовсе мнимый перевод (“Из Пиндемонти”). Пушкин использует различные формы метатекстуальности с той же целью, с какой в других случаях он прибегает к прямой мистификации, – как раз для того, чтобы скрыть политический подтекст и автобиографическую подоплеку своего творчества.

Однако выявить то, в какую поэтику претворяется политика в выше названных произведениях Пушкина, еще только предстоит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. статья В.Э. Вацуру; сост. и примеч. В.Э. Вацуру, М.И. Гиллельсона, Р.В. Иезуитовой, Я.Л. Левкович и др. 3-е изд., доп. СПб.: Акад. проект, 1998. Т. 1. 528 с.
2. *Белинский В.Г.* Полн. собр. сочинений: В 13 т. Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 826 с.
3. *Григорьев А.* Замечания об отношении современной критики к искусству // Москвитянин. 1855. № 13–14. С. 107–148.
4. *Стороженко Н.* Отношение Пушкина к иностранной словесности // Венок на памятник Пушкину. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1880. С. 223–227.
5. *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 575 с.
6. *Захаров Н.* Шекспир в творческой эволюции Пушкина. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, 2003. 283 с.
7. *Лотман Ю.М.* Идеальная структура поэмы Пушкина “Анджело” // Пушкинский сборник. Псков, 1973. С. 3–23.
8. *Черняев Н.И.* Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков: Тип. “Южного края”, 1900. 639 с.
9. *Гессен С.* Аракчеев в поэме Пушкина // Утренники. Пг., 1922. Кн. 2. С. 78–79.
10. *Василич Г.* Император Александр I и старец Феодор Кузьмич. 4-е изд. М.: Образование, 1911. 155 с.
11. *Кудряшов К.В.* Александр Первый и тайна Феодора Кузьмича. Пг.: Время, 1923. 96 с.
12. *Листов В.С.* Пушкин: судьба коренного поэта. Большое Болдино; Арзамас, 2012. 398 с.
13. *Пушкин А.С.* Полн. собр. сочинений: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
14. *Белый А.* “Анджело”: между свободой и милостью // Пушкин в XXI веке. Сб. в честь В.С. Непомнящего. М.: Русский мир, 2006. С. 140–169.
15. *Мандельштам О.Э.* О собеседнике // Мандельштам О.Э. Собр. сочинений: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. С. 162–167.
16. *Архангельский А.Н.* Герои Пушкина. Очерки литературной характерологии. М.: Высшая школа, 1999. 286 с.
17. *Гуревич А.М.* “Свободная стихия”. Статьи о творчестве Пушкина. М.: Языки славянской культуры, 2015. 376 с.
18. *Кибальник С.А.* Художественная философия Пушкина. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 199 с.
19. *Вересаев В.* Сочинения: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 2. 558 с.
20. *Левин Ю.Д.* Шекспир и русская литература XIX века. Л.: Наука, 1988. 326 с.
21. *Долинин А.А.* Пушкин и Англия. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 280 с.
22. *Макогоненко Г.П.* Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1833–1836). Л.: Худож. лит., 1982. 463 с.
23. *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. [Л.]: Гос. изд-во худож. лит., 1955. Т. 1. 651 с.
24. *Сурат И.* Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах. М.: РГГУ, 2009. 652 с.
25. *Шильдер Н.* Император Николай I: Его жизнь и царствование: [В 2 т.]. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1900. Т. 1. 800 с.
26. *Луцевич Л.* “Буду говорить, как сам видел, чувство-

- вал – от чистого сердца...”: Николай I о русской политике // Текст и традиция: альманах, 6. СПб.: Росток, 2018. С. 107–127.
27. Левкович Я.Л. Лицейские “годовщины” // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика. Л.: Наука, 1974. С. 71–107.
 28. Пушкин А.С. Собр. сочинений: В 10 т. 4-е изд. Т. 4. Л.: Наука, 1977. 447 с.
 29. Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 29–30. Пг.: Тип. Рос. акад. наук, 1918. 235 с.
 30. Shakespeare W. Measure for Measure / Introduction by Brian Gibbons. Cambridge, 1991. 213 p.
 31. Порту С. Закон и милосердие: “Measure for Measure” Шекспира и “Анджело” Пушкина // Graduate Essays on Slavic Languages and Literature / Ed. by Mark Altshuller. Pittsburg, 1993. С. 45–59.
 32. Vickery, Walter. Pushkin’s Andzhelo: A Problem Piece // Mnemozina: Studia litteraria russica in honorem V. Setchkarev. München, [1974]. S. 325–339.
 33. Shakespeare W. Oeuvres complètes / Traduites de l’anglais par Letourneur. Nouvelle édition, revue et corrigée par F. Guizot et A.P., traducteur de Lord Byron. Paris, 1821. T. VIII.
 12. Listov, V.S. Pushkin: the Fate of the Indigenous Poet. Big Boldino, Arzamas, 2012. 398 p. (In Russ.)
 13. Pushkin, A.S. The Complete Works in 16 Vols. Moscow, Leningrad, 1937–1959. (In Russ.)
 14. Belyj, A. “Angelo”: between Freedom and Mercy. *Pushkin in the Twenty-first Century*. Moscow, 2006. P. 140–169. (In Russ.)
 15. Mandelstam, O.E. About the Interlocutor. *Mandelstam, O.E. The Collection Works in 4 Vols*. Moscow, 1993, Vol. 2. P. 182–187. (In Russ.)
 16. Arhangel’skij, A.N. Heroes of Pushkin. Essays of Literary Characterology. Moscow, 1999. 286 p. (In Russ.)
 17. Gurevich, A.M. “Free Element”: Articles on Works by Pushkin. Moscow, 2015. 376 p. (In Russ.)
 18. Kibalnik, S.A. Pushkin’s Artistic Philosophy. St. Petersburg, 1998. 199 p. (In Russ.)
 19. Veresajev, V. Works in 4 Vols. Vol. 4. Moscow, 1990. 558 p. (In Russ.)
 20. Levin, Yu.D. Shakespeare and Russian Literature of the XIX Century. Leningrad, 1988. 326 p. (In Russ.)
 21. Dolinin, A.A. Pushkin and England. Moscow, 2007. 280 p. (In Russ.)
 22. Makogonenko, G.P. Creativity of A.S. Pushkin in the 1830s (1833–1836). Leningrad, 1982. 463 p. (In Russ.)
 23. Nikitenko, A.V. A Diary in 3 Vols. Vol. 1. Leningrad, 1955. 651 p. (In Russ.)
 24. Surat, I. Yesterday’s Sun. About Pushkin and the Pushkinists. Moscow, 2009. 652 p. (In Russ.)
 25. Shilder, N. Emperor Nicholas I: His Life and Reign. Vol. 1. St. Petersburg, 1900. 800 p. (In Russ.)
 26. Lutsevich, L. “I will speak, as I myself saw, I felt – from my heart ...”: Nikolas I about Russian Politics. *Text and Tradition, Almanac 6*. St. Petersburg, 2018. P. 107–127. (In Russ.)
 27. Levkovich, Ya.L. Lyceum “Anniversaries”. *Pushkin’s Poems 1820–1830s. History of Creation and Ideological and Artistic Problems*. Leningrad, 1974. P. 71–107. (In Russ.)
 28. Pushkin, A.S. The Complete Works in 10 Vols. Ed. 4. Vol. 4. Leningrad, 1977. 447 p. (In Russ.)
 29. Pushkin and his Contemporaries: Materials and Research. Iss. 29–30. Petrograd., 1918. 235 p. (In Russ.)
 30. Shakespeare, W. Measure for Measure. Introduction by Brian Gibbons. Cambridge, 1991. 213 p.
 31. Porti, S. Law and Mercy: Shakespeare’s “Measure for Measure” and Pushkin’s “Angelo”. *Graduate Essays on Slavic Languages and Literature*. Ed. by Mark Altshuller. Pittsburg, 1993. P. 45–59. (In Russ.)
 32. Vickery, Walter. Pushkin’s Andzhelo: A Problem Piece. In: *Mnemozina. Studia litteraria russica in honorem V. Setchkarev*. München, [1974]. P. 325–339.
 33. Shakespeare W. Oeuvres complètes. Traduites de l’anglais par Letourneur. Nouvelle édition, revue et corrigée par F. Guizot et A.P., traducteur de Lord Byron. Paris, 1821. T. VIII. (In French).

REFERENCES

1. A.S. Pushkin in Reminiscences of Contemporaries in 2 Vols. Ed. 3. Vol. 1. St. Petersburg, 1998. 528 p. (In Russ.)
2. Belinskij, V.G. The Complete Works in 13 Vols. Vol. 7. Moscow, 1955. 826 p. (In Russ.)
3. Grigoryev, A. Comments on the Attitude of Modern Criticism to Art. *Moskvityanin*, 1855. No. 13–14. P. 107–148. (In Russ.)
4. Storozhenko, N. Pushkin’s Attitude to Foreign Literature. *Wreath at the Monument to Pushkin*. St. Petersburg, 1880. P. 223–227. (In Russ.)
5. Tomashevskiy, B.V. Pushkin. Book 2. Leningrad, 1961. 575 p. (In Russ.)
6. Zaharov, N. Shakespeare in the Creative Evolution of Pushkin. Jyväskylä University Printing House, 2003. 283 p. (In Russ.)
7. Lotman, Yu.M. The Ideological Structure of the Poem by Pushkin “Angelo”. *Pushkin collection*. Pskov, 1973. P. 3–23. (In Russ.)
8. Cherniyaev, N.I. Critical Articles and Notes about Pushkin. Kharkov, 1900. 639 p. (In Russ.)
9. Gessen, S. Arakcheev in Pushkin’s Poem. *Matinees*. Petrograd, 1922. Book 2. P. 78–79. (In Russ.)
10. Vasilich, G. Emperor Alexander I and the Elder Theodore Kuzmich. Ed. 4. Moscow, 1911. 155 p. (In Russ.)
11. Kudryashov, K.V. Alexander the First and the Secret of Theodore Kuzmich. Petrograd, 1923. 96 p. (In Russ.)